

## **Аверинцев С. Опыт петербургской интеллигенции в советские годы — по личным впечатлениям**

В прошлом году, когда отмечалось трехсотлетие основания Петербурга, у меня возникла идея организовать, при содействии Эрмитажа и петербургского государственного Музея истории города, выставку, которая показала бы, через живописные работы и рисунки, вклад итальянских мастеров в создание новой российской столицы. Выставка, под названием “Петербург и Италия. 1750 — 1850. Итальянский гений в России” открылась 29 апреля 2003 года в Викторианском монументально-музейном комплексе (Vittoriano) и с успехом продолжилась до июля.

Кроме публикации каталога, созданного усилиями русских и итальянских исследователей, было решено устроить конференцию на эту же тему. Конференция состоялась 30 апреля на великолепной вилле Тусколана в городке Фраскати под Римом. Ее участниками были кроме историка искусства Летиции Тедески и автора этих строк Сергей Андросов, заведующий Отделом западноевропейского искусства петербургского музея, а также Сергей Бочаров и Сергей Аверинцев.

За несколько недель до этого, гуляя по Риму в окрестностях Пантеона, мы случайно встретились с Сергеем Сергеевичем и его женой Натальей Петровной (в этот день ему предстояло держать речь философского характера в итальянском Сенате). Меня и мою жену Клару много лет связывали дружеские отношения с обоими, и, предложив ему выступить на будущей конференции, я получил его согласие. Публикуемое ниже выступление Аверинцев прочел по-итальянски (перевод сделала Клара), так что благодаря прямому контакту с аудиторией, помимо собственно содержательного интереса текста, его доклад имел особый успех. Во время работы конференции Сергей Сергеевич написал на отдельном листке шуточный стихотворный экспромт и протянул его мне со словами: “Это вам подарок”. Экспромт оказался его последним известным мне стихотворением. Вот он:

### **Серебряный век**

Когда прав, когда не прав,  
Всегда Вячеслав есть Вячеслав;  
Но вечно Бугаев Боря  
С Андреем Белым в ссоре,  
И Александр Блок  
С двойниками совладать не смог,  
И Тетерников Федя  
Стервенел вроде медведя,  
И немел среди безумств Азии  
Директор царскосельской гимназии,  
И ученик его Коля  
Уж больно тужился в роли...  
Однако при царе и при республике  
Милы они чистой публике!  
А вот Лене и Леше  
Хлопала публика поплоше.  
Срывал немых курсисток рев  
Тучный и томный Лотарёв,  
Вызывали восторги в каждом уроде  
Эти самые, которые “вроде Володи”,

И соборные действия по эстетной воле  
На площадях учинял нарком Анатолий:  
Тут из всех щелей поползли шулера,  
И сама собой накрылась игра.

С. А.

Во второй половине дня участники выставки и конференции совершили незабываемую экскурсию в Тиволи и на виллу Адриана. Именно тогда Аверинцев почувствовал некоторую усталость, от которой ему уже не суждено было оправиться.

Прощаясь на следующий день (мы с женой возвращались в Венецию, Аверинцевы оставались на несколько дней в Риме для участия на заседаниях Ватиканской Академии), мы не могли знать, что это наша последняя встреча. Потом известие о прискорбном инциденте, затяжная кома, за которой мы следили с трепетом и надеждой, и, наконец, звонок Наташи, сообщившей о кончине.

В Италии у Сергея Аверинцева было много друзей и почитателей, здесь его очень ценили как ученого и мыслителя, и его смерть вызвала неподдельную скорбь, о чем я писал в “Коррьере делла сера” в посвященной ему статье-некрологе.

Витторио Страда.

Венеция.

Я буду говорить о людях, с которыми я постоянно встречался, — иначе говоря, о замкнутом круге более или менее нонконформистской интеллигенции, ориентированной на старые культурные парадигмы и уже постольку более или менее оппозиционной.

Однако в виде заставки к моему сугубо мемуарному докладу фигурирует совсем иное имя, принадлежащее поэту, которого я не только не мог знать лично, но о самом существовании которого мне пришлось узнать не из устного предания старой питерской интеллигенции, а из отличной комментированной антологии поэзии на иврите: “The Penguin Book of Hebrew Verse”, ed. by T. Carmi, 1981. Это имя Хаима Ленского, родившегося в начале века в Белоруссии, тщательно изучившего иврит в специальной школе в Вильнюсе (тогда польском городе Вильна), а затем переселившегося в Ленинград, где он работал на металлургическом заводе, а на досуге упражнялся в сочинении стихов на иврите.

Известен его сонет, воспевающий в тонах, что называется, серебряного века — не без макаберных ноток — петербургский закат: день спускается по ступеням к Неве и погружается в волны, в наступивших сумерках утопают пламенеющий купол Исаакия (kipat 'isaaqi) и подобная золотому шару кровля Адмиралтейства (kaddur-zahav... ggag-ha'admirlija), — а между тем из вод Невы выплывает удлинившееся тело утопленника-дня, “с белым лицом и голубыми устами”, и это не что иное, как hallbajlah hallavan, по-русски белая ночь. Судьба поэта, хвалившегося, что перенес имя своей Царицы, то есть еврейского языка, за Неман и Неву и заклинавшего ее перенести его имя — за Лету, была такой, как и надо было ожидать: арест в 1934-м, странствия по ГУЛАГу, кратковременное возвращение в Ленинград, новый арест в конце тридцатых и лагерная смерть от голода в начале сороковых. Разумеется, можно (и нужно) приобщить вышеназванный сонет, называющийся по имени архитектурные достопримечательности и завершающийся картиной белой ночи, к корпусу так называемого “петербургского текста” и

“петербургского мифа”, но я обращаюсь к фигуре еврейского поэта (в конце концов, пришедшего в город на Неве из иных земель) как к воплощению некоего поведенческого стиля, который в разнообразных вариантах представляется мне характерным именно для поведения питерской интеллигенции.

Красивый, пожалуй, даже слишком красивый сюжет: сочинять на возрождаемом древнееврейском языке постсимволистский сонет о белой ночи посреди ленинградской действительности тех годов, — это предполагает едва ли не абсолютную решимость вообще не оглядываться на то, что творится вокруг. Не с той ли безоглядностью вникания в материи вроде английских metaphysical poets, самые что ни на есть странные по обстоятельствам времени и места, будет начинать четверть века спустя другой еврейский мальчик в Ленинграде — Иосиф Бродский?

Чтобы написать такой сонет, нужно было суметь до конца сосредоточиться на самих правилах игры, отбросив с великолепным презрением вопрос — кто в этой игре ожидаемый партнер поэта, кто будет читателем и ценителем? На берегах Невы не очень читали на иврите, а там, где знатоков этого языка было побольше, едва ли многих заинтересует тема — купол Исаакия, *kipat 'isaaqi*, и сама белая ночь, *hallbajlah hallavan*. Но все это не имеет никакого значения: важны правила игры — чем строже, чем труднее, тем лучше.

Именно по признаку этого своего качества забытый образ Хаима Ленского выбран как заставка для моего доклада.

Я испытываю сильное искушение ностальгически углубиться в атмосферу, густо клубившуюся вокруг питерских стариков вроде Аристида Ивановича Доватура, для которых, скажем, фигура поэта Константина Вагинова была недалгим воспоминанием вольного филологического сообщества эллинистов по имени АБДЕМ, заседания коего Вагинов посещал с 1927 года, — а уж шуточка насчет Мандельштама как “мраморной мухи” сохраняла острую злободневность, точно вот только что возникшая. Такие очень устные, очень домашние рассказы, регулярно перемежавшиеся с лагерными воспоминаниями рассказчика, рассказы, в которых очень важны были мимика, интонации, нюансы выговора, — действовали на меня, молодого москвича, как некая мистериальная инициация. Я думаю о том, как показывал мне петербургские места, а также Комарово Дмитрий Сергеевич Лихачев, — это тоже была инициация в мистерии Петрополиса. Но иногда тема поучительной беседы не была петербургской в буквальном смысле; Кумран и вообще *iudaica* не имеют специально к Петербургу никакого касательства, но для моей души эти предметы навсегда связаны с памятью о незабвенном Иосифе Давыдовиче Амусине, с домом на улице Орбели, где я его навещал, наслаждаясь общением с ним и запасаясь наставлениями для моих будущих трудов...

Но позволять себе эпический тон я сейчас не буду. По моей вине здесь многое навсегда упущено, потому что надо было вести записи сразу, а этого я не сделал; может быть, о чем-то мне еще удастся рассказать в соответствующем жанре, неизбежно фрагментарном и одновременно сугубо неспешном, весьма отличном от жанра доклада.

Сегодня я в соответствии с нашей темой постараюсь рассуждать о предметах более общих: чем отличались в советскую пору носители старой культурной традиции Петербурга от интеллигентов несоветского или хотя бы не-совсем-советского типа в Москве?

(Заодно замечу, что для реконструкции конкретных нюансов локальной истории “недобитой” старой интеллигенции в различных частях СССР сделано до сих пор слишком мало. Например, совсем особый сюжет — жизнь русских интеллигентов, ввремя направивших свои стопы в Среднюю Азию; именно там пересаживали тридцатые годы мои родители, а едва ли не единственный встретившийся мне человек старшего поколения, который при полном неприятии сталинщины сохранил внутреннюю веселость, еще в 1925 году смекнул забраться в Фергану.)

Стоит ли заниматься историей поколений людей, сберегших внутреннюю независимость, однако злой судьбой чаще всего лишенных возможности оставить нам что-нибудь, кроме некоторого количества стихотворений и весьма специальных, порой быстро устаревающих ученых трудов? Для меня такого вопроса нет. Даже те, кто не смог сделать больше ничего или почти ничего, воспитали нас. Без них нас не было бы...

Возвращаюсь к моей теме.

В советские десятилетия для города, именовавшегося тогда Ленинградом, была, как правило, свойственна большая, чем в Москве, жесткость репрессивно-идеологического климата. Ленинград был в свое время едва ли не эпицентром сталинских репрессий, и недаром же его выбрали для такой акции, как убийство Кирова. Но и позднее, в послеоттепельные года, когда московская интеллигенция могла наслаждаться такими двумя взаимосвязанными радостями, как внимание иностранных корреспондентов, коллег и прочих заграничных посетителей столицы Советского Союза — и смягчение режима в этой столице, питерская жизнь была существенно иной. Вспоминаю, что сказал мне когда-то в семидесятые мой добрый друг Евгений Рашковский, сам москвич, как и я: “Не забывай, Сережа, что настоящая советская жизнь начинается в стольких-то километрах от Москвы”. Однажды и я малость испытал на себе холодок ленинградской атмосферы, когда в 1980 году, возвращаясь из научной командировки в Италию и Грецию, уже в самолете узнал, что в силу нормального для той поры сюрреалистического казуса самолет взял да и полетел из Афин вместо Москвы в Ленинград, где вдруг явилась нужда быть летевшему на нем важному партийному лицу, а прочим пассажирам дали затем возможность бесплатно лететь из Ленинграда в Москву, однако, пройдя там, куда прилетели, процедуру, так сказать, пересечения границы, — так вот, в ленинградской-то таможене рылись в моих бумажных листочках уж никак не меньше трех часов, да с такими красочными придирадками, какие в таможене московской уже были тогда несколько устаревшим явлением.

Сюда же относится обстоятельство несравнимо более серьезное. Практически все питерские мэтры, для встреч с которыми я и ездил в город на Неве, прошли через ГУЛАГ. Вот неполный список: Дмитрий Сергеевич Лихачев и Иосиф Давыдович Амусин, Аристид Иванович Доватур и Андрей Николаевич Егунов, даже не так уж намного старший меня по возрасту Александр Иосифович Зайцев, отношение к которому было у меня не ученическим, а уважительно-коллегиальным, — все.

Легкомысленной Москве положено было быть городом иллюзий.

Даже Сталин и тот ведь одно время пытался внушать московской интеллигенции надежды на возможность диалога: вспомним его телефонные звонки Михаилу Булгакову, позднее Пастернаку — стратегия была рассчитана, разумеется, на фарсовый эффект растерянности того, кому Вождь звонит, однако же под конец разговора в обоих случаях возникал мотив надежды на встречу и возможность поговорить по-настоящему. Разумеется, такие фразы

Вождя не имели никакого отношения к реальности, однако они производили, скажем, на того же Булгакова определенное впечатление.

Когда мы вдумываемся в ситуацию, мы чувствуем семиотическую важность того, что это были телефонные разговоры по городу Москве, никак не междугородные. Просто нет возможности вообразить себе аналогичный звонок к кому-либо из протагонистов питерской культуры, скажем к Ахматовой. Но сталинское время — особый случай; иллюзия возможности диалога — уже не с вождями лично, но с идеологией вообще и властью вообще — становится характерной компонентой сознания московской интеллигенции позднее, в пору “оттепели”. А те, кто разочаровывался в этой иллюзии, шли в политическое диссидентство — и могли рассчитывать на то, что грозящий арест будет по крайней мере заметным московским событием.

В Ленинграде политический климат был все время жестче. Не без связи с этим меньшее развитие получили оба характерные для послеоттепельной Москвы феномена: 1) прежде всего полусоветская культура евтушенковского типа, ориентированная на двусмысленный, обильный недоговоренностями разговор на две стороны — с властью и с интеллигенцией; 2) отчасти также и политическое диссидентство, ориентированное на возможность апеллировать (через иностранных корреспондентов) к мировому общественному мнению. Оставалась суровая сосредоточенность на своем деле, чуть ли не преувеличенная верность тем или иным воспринятым “заветам”.

Традиционная характеристика московской культуры при взгляде из Питера — легкомыслие, “распушенность”. Сами собой вспоминаются строки Кушнера:

Да ну гитара, право,  
Засученный рукав.  
Любезная отрав,  
Поставь ее за шкаф.  
Пускай на ней играет  
Григорьев по ночам,  
Как это подобает  
Разгульным москвичам...

Вспомним, как Дмитрий Святополк-Мирский, одним из первых оценивший масштаб поэзии Марины Цветаевой, писал, однако, о ней: “Московская (сказать ли?) распушенность в каждом движении ее стиха”<sup>1</sup>.

Напротив, петербургская культурная традиция была уже давно ориентирована на дисциплину, на абсолютные мерилы; тот же Мирский в 1922 году говорил о Петербурге как “столице Культуры Вечности” и отмечал “математичность и дисциплину” как особенность петербургской поэзии<sup>2</sup>. Особенно тяжелая судьба носителей петербургской культуры в советское время отнимала иллюзии; заодно такая судьба неизбежно ослабляла и здоровую потребность в живой оглядке на своих современников, в любом случае усугублялись унаследованные свойства вышеназванной “Культуры Вечности”.

Поиски опоры в возможно большей твердости культурных парадигм гарантировали у лучших представителей оппозиционной питерской интеллигенции особый пафос профессиональной добросовестности (я еще раз подчеркиваю, что сравниваю порядочных москвичей с порядочными питерцами, мысленно выбирая лиц для сравнения по признаку сопоставимого морального уровня, чтобы процедура сравнения не потеряла смысла).

В качестве специалиста по классической филологии должен сознаться, что уровень этой добросовестности был у тех питерских филологов, которые были правомочными хранителями старой традиции, существенно выше, чем у их московских коллег, даже наиболее достойных и порядочных.

В глазах лучших среди наших московских наставников читалась печально-ироническая оглядка на реальность сегодняшнего дня... и неизбежная попытка отмерить, что при данных обстоятельствах еще можно (и должно!) сделать, а на какие прежние устои следует махнуть рукой. В Питере еще можно было встретить настоящих жрецов науки, которые казались людьми иной породы, последними гражданами затонувшей Атлантиды, и в них ощущалась решимость ригористически соблюдать законы этой Атлантиды до конца своих дней и вопреки всему. Если в Москве времен нашей молодости одна нонконформистски-порядочная, всесторонне образованная и творчески одаренная представительница старшего поколения (имени которой я не назову, ибо она заслужила, чтобы о ней говорили в ином контексте) могла, однако, сваливать составление научного аппарата к своим по долгу службы написанным статьям на свою ученицу и младшую сотрудницу, — старые питерцы сравнимого с ней морального и культурного уровня вели себя совсем, совсем иначе.

Питерец Бродский (о котором мне еще придется говорить) воспел — на поверхности иронично, в глубине совершенно серьезно — “собачью” доблесть петербургской культуры советских лет:

...И что им этот безобразный дом!  
Для них тут садик, говорят вам — садик.  
А то, что очевидно для людей,  
собакам совершенно безразлично.  
Вот это и зовут: “собачья верность”.

Оборотная сторона ориентации на незыблемые парадигмы — жесткость, плохо совместимая и с творческой продуктивностью, и с толерантностью. Постараюсь привести примеры того и другого.

К вопросу о продуктивности: когда шел теоретический спор между московской и питерской школами литературного перевода, по большей части трудно было не признать правоту питерцев, — но в практической деятельности москвичи чаще побеждали, ибо литературный перевод требует диалогического контакта как с переводимым автором, так и с возможным читателем. Переводчик не должен подлаживаться к читателю, но он должен видеть этого читателя, должен смотреть ему в глаза... Мне кажется, что вот это москвичам удавалось лучше; впрочем, я могу быть пристрастен — ведь я сам стихотворный переводчик московской школы!

А теперь к вопросу о толерантности — вот каков был мой опыт, опыт легкомысленно миролюбивого москвича. На каждой научной конференции по классической филологии я спешил первым делом приветствовать некоторых глубоко уважаемых мною питерских наставников; и почти сейчас же на мою почтительную голову обрушивались их гневные восклицания: “Нет, как вы можете говорить с этим ужасным человеком?” — это один мой наставник сурово осуждал меня за общение с другим (в тех же выражениях, что этот другой — за общение с ним).

А я не мог не чтить каждого из них: скажем, Аристида Ивановича Доватура — за незыблемую верность строжайшей филологической парадигме времен Вилаговича-

Мёллендорфа (Wilamowitz-Moellendorff), а Иосифа Моисеевича Тронского<sup>3</sup> — за живую чуткость к более новым исследовательским парадигмам литературоведения и языкознания. Я не мог не испытывать человеческого уважения к страданиям, испытанным Доватуром в ГУЛАГе, — и, в конце концов, к порядочности Тронского, скажем, по причине своих лаицистских убеждений приходившего в настоящую ярость по поводу моей христианской позиции и выражавшего эту ярость мне лично, однако строжайше воздерживавшегося от каких бы то ни было публичных высказываний, которые в советских условиях были бы доносом (а также опровергнувшего однажды одну из частных исторических версий советского атеизма просто по верности своему долгу эксперта по филологическим вопросам). Да ведь и научная судьба Тронского находилась, как у многих питерцев, в вопиющем несоответствии его знаниям, таланту и трудолюбию, так что какая-то доля сострадания примешивалась к моему респекту и в его случае. Возвращаясь к конфликту, скажу, что дело не обходилось уж совсем без политики: Тронский был в глазах Доватура все же слишком марксистом, Доватур в глазах Тронского — чуть ли не средоточием одиозной старорежимности; однако важнее всего было столкновение именно научных и общекультурных парадигм, как нынче говорят — *clash of civilisations*. Два человека, для которых их наука была дороже и важнее всего, ненавидели друг друга за различное понимание идентичности этой науки. А мне вспоминались стихи Брюсова о том, как ведут себя немногие, кто остался в живых “из славного племени / многомогущих воителей, пльвших под Трюю”, из героического поколения:

...И когда мы порой, волей рока, встречаемся,  
Мы, привыкшие к жизни средь малых, бесславных, —  
Как враги друг на друга, грозя, ополчаемся,  
Чтоб потешить наш дух поединком двух равных!

Но я хотел бы подчеркнуть, что сама эта несносная нетерпимость была оборотной стороной истинно питерской героической отчетливости парадигм.

Недаром же питерец Мандельштам клял “всеперпимость”, называя ее “пся-кровь”, и настаивал на том, что филология должна быть “вся кровь, вся нетерпимость”. Что ж, филологи Доватур и Тронский воплощали, каждый по-своему, этот очень питерский императив.

Интересно, что два представителя оппозиционной питерской интеллигенции, сумевшие выйти из тихого затвора профессионального или частного микрокосма и наделать шуму в России, а один из них — и во всем мире, так или иначе отошли от беспримесной чистоты питерского культурного типа. Разумеется, я имею в виду Иосифа Бродского и Льва Гумилева.

В обоих случаях нельзя не усмотреть некоего внутреннего противоречия; но казус Льва Гумилева проще. Поэтому я начну с него. Евразийство — изначально не петербургская вещь; не только потому, что его отцы основатели в период, предшествовавший эмиграции, как правило, не были связаны с Петербургом, не только потому, что его доктрина содержит как раз эмфатическое осуждение дела Петра, так нектати открывшего свое “окно в Европу”, — но прежде всего потому, что оно с самого начала потребовало от своих адептов и глашатаев отхода от императива научного профессионализма во имя насквозь идеологического проекта “идеократии”. Из писем зачинателя евразийства Николая Сергеевича Трубецкого<sup>4</sup> — кстати, москвича — слишком хорошо известно, какие внутренние страдания причиняли агитационные правила игры этому замечательному ученому. Лев Гумилев, сам называвший себя “последним евразийцем”, принял эти правила игры, обрекавшие его на систематический дилетантизм. От питерской

патетики при этом оставалась нетолерантная абсолютизация воспринятой парадигмы. Другой характерно питерский момент — трагизм его биографии, определенным образом сказавшийся на его мыслительном складе. Увы, ГУЛАГ, пространство, где человека подстерегают все на свете страдания и унижения, но где его мыслям не дождаться профессионально-коллегиальной критики, — не самое подходящее место для того, чтобы учиться рассуждать, переспрашивая себя и отвечая на свои же возражения. А к преступлениям тоталитаризма относится и такой шедевр адской издевки: что он заражает своих собственных истязуемых им жертв — своими же мыслительными недугами. Когда покойный Лев Николаевич в приватной обстановке отвечал на любую критику предупреждением, что не согласный с ним разоблачает себя как агент КГБ, а возможно, и ЦРУ, или когда он по ходу исторических рассуждений не без мрачного удовольствия пользовался понятием “идеологической диверсии”, — трудно было об этом не подумать. От питерской традиции при этом оставался только выстрадаанный пафос серьезности, отличавший его от множества подражателей, которые по существу всегда были настроены несравнимо легкомысленнее.

В случае Бродского внутреннее противоречие много тоньше. Бродский не только воспел петербургский ландшафт в стихах, которые когда-то называли бы бессмертными, он дал статус мифа понятию “петербургской школы” в поэзии (при этом победоносно вытеснив своей фигурой всех своих собратьев по названной школе). В ранг мифа его личной биографии оказались возведены его ранние встречи с Ахматовой. Тем не менее слишком очевидно, что силовой напор его стиха, взрывчатость его рифм, наступательность его анжамбманов (*enjambements*), вообще весь тонус его поэзии имеют несравненно больше общего с москвичкой Цветаевой, чем с какими-либо питерскими образцами (включая даже Мандельштама). Известное (и, по моему мнению, весьма удачное) стихотворение Александра Кушнера, красиво обыгрывающее как раз испуг перед анжамбманами Бродского, выглядит как аутентичная реакция чистопородного питерца. Далеко не случайно лучший образец эссеистики Бродского посвящен цветаевскому “Новогоднему”; его лучше читать в английском подлиннике, наслаждаясь опытами перевода кусочков из Цветаевой — то поэтического, то подстрочного, но каждый раз попадающего в цель.

У вопроса о том, как питерец Бродский перенимал московские парадигмы, есть и несколько странные аспекты. Начнем хоть с попыток учиться у Одена и прочих англоязычных менторов, плодотворные на других уровнях, но на уровне стиха сразу разбивавшиеся об энергию воспитанного на Цветаевой стиха, так что вместо размывания стиха до верлибра получалось нечто прямо противоположное. (Чтобы острить, как Глеб Шульпяков в “Литературной газете” от 8 июля 1997 года, что-де Оден и Бродский — “синонимы”, что “в разных языках они делали примерно одно”, надо совсем не иметь слуха к стиху.)

Вспомним также преувеличенную враждебность Бродского к Евтушенко и *tutti quanti*, за которой скрывается парадоксальная неспособность спокойно отстраниться, — жгучее соперничество с так называемыми “шестидесятниками”, из-за голов и плеч которых высывалась фигура москвича Маяковского. Ведь Бродский уже в Соединенных Штатах рассуждал о желательности публичных рецитаций поэзии на стадионах: разве тут не чувствуется близость того же Маяковского, а также сугубо московских по всему типу вакханалий “шестидесятников” в Политехническом музее? А в ранние годы у Бродского были строки, полностью укладывающиеся в шестидесятническую парадигму, — недаром уверяют, будто их распевали геологи у костров, это им подходит:

Каждый пред Богом  
наг.

Жалок,  
наг  
и убог.  
В каждой музыке  
Бах,  
В каждом из нас  
Бог...

Но питерская черта — железная последовательность, с которой Бродский воспринимал любую парадигму, хотя бы и совсем не питерскую.

Но мне пора заканчивать мой доклад. Я думаю, в уме каждого из вас — примерно те же вопросы, что и в моем уме: сохраняет ли петербургская культура свою идентичность сегодня (и в предвидимом “завтра”)? Не является ли фигура Бродского знаком и знамением утраты этой идентичности? Или идентичность, осложняясь и вступая в противоречивые отношения с самой собой, получает шанс нового будущего? Не знаю...

1 Mirsky D. S. *Uncollected Writings on Russian Literature*, ed. by G. S. Smith, Berkeley, 1989, p 102. Ср. фразы, открывающие статью Г. Адамовича “Русская поэзия”: “Поэтическая Россия разделяется на Москву и Петербург. Петербургская поэзия, как всем известно, суше и строже. Московская шумливей и разухабистей” (“Жизнь искусства”, 1923, № 2, стр. 4).

2 Mirsky D. S. *Op. cit.*, p. 105.

3 Собственно, Троцкого: как и многие другие носители этой фамилии, он принужден был ее поменять.

4 Подробно об этом см. в работе С. Аверинцева “Несколько мыслей об „евразийстве” Н. С. Трубецкого. Опыт беспристрастного взгляда” — “Новый мир”, 2003, № 2. (Примеч. ред.)